

С.А. Шульц

**БАЙРОН – ТУРГЕНЕВ – КАМЮ:
ОТ «ЛИШНЕГО» ЧЕЛОВЕКА
К «ПОСТОРОННЕМУ»**

Аннотация. В свете взаимосвязи творчества Тургенева с романтизмом и экзистенциализмом рассмотрены переключки между произведениями Байрона, Тургенева («Дневник лишнего человека»), Камю («Посторонний»). Категория «лишнего человека» сближена с романтизмом и экзистенциализмом (образ «постороннего»).

Ключевые слова: Байрон; Тургенев; Камю; «лишний человек»; романтизм; экзистенциализм.

Shulz S.A. Byron – Turgenev – Camus: From the «superfluous man to «l'etranger»

Summary. In the light of the interrelation between Turgenev's art and Romanticism and Existentialism, rolls are considered between the works of Byron, Turgenev («Diary of the superfluous man»), Camus («L'Etranger»). The category of «superfluous man» is similar to Romanticism and Existentialism (the image of «l'etranger»).

Keywords: Byron; Turgenev; Camus; «superfluous man»; Romanticism; Existentialism.

Творчество Тургенева тесно связано с романтизмом и его интертекстами¹, что проявляется не только в «лиризме», «элегичности» пафоса авторского повествования, тургеневской приверженности ряду ярко романтизированных ценностей (искусство, любовь и т.п.), но и – особенно в поздний период творчества –

в интересе к «таинственному», «странному»². С другой стороны, персонологическая акцентированность тургеневского мира (внимание к персонажам с развитым чувством самости, индивидуации) предвосхищает экзистенциалистские поиски XX в. – как их предвосхитил и сам романтизм в целом.

Тургеневская повесть «Дневник лишнего человека» впервые прямо задает специфический термин / образ «лишнего человека», причем сразу в двух измерениях: персоналистической выразительности героя и вместе с тем его неканонической «странности». Всю «многозначность и подвижность смысла» заданного Тургеньевым образа «лишнего человека», отмеченную В.М. Марковичем³, нельзя упустить из вида.

По точному замечанию А.А. Фаустова и С.В. Савинкова: «В случае с “лишним” человеком мы наблюдаем настоящую экспансию термина, который довольно быстро стал применяться к весьма разнородным персонажам»⁴. Далеко не во всем такая экспансия коренится в объективных обстоятельствах, притом она способна сместить коннотации и оценки ряда литературных персонажей к ложным контекстам, интертекстам, смыслам.

Прочитированные авторы, рассматривая различные расширения толкования понятия «лишний человек», особо выделяют «ту линию сотворения “лишнего” человека, поворотным пунктом для которой стал “Шильонский узник” Байрона в версии Жуковского» (с. 37): «Со времен “Шильонского узника” В.А. Жуковского (1822) (включившего соответствующий оригинальный фрагмент в свой перевод байроновской поэмы) идиома “лишний гость” обретает особое, экзистенциальное значение, формообразующее для характера “лишнего” человека: “Без места на пиру земном, / Я был бы лишний гость на нем...”⁵» (с. 18–19). Жуковский в своем переводе, впрочем, усилил акцент байроновской коннотации исходя из логики самого Байрона. Поэт А.А. Тарковский также бегло отмечал «влияние Байрона на формирование типа “лишнего человека” в нашей литературе»⁶.

Вместе с тем, согласно наблюдению Е.Е. Дмитриевой, «существует и другая версия, выдвинутая в свое время Д.Д. Благим в комментарии к роману “Евгений Онегин”, согласно которой сам Пушкин в черновом варианте восьмой главы назвал своего героя лишним (“Кто там меж ними в отдаленьи / Как нечто лишнее стоит /

Ни с кем он мнится не в сношеньи / Почти ни с кем не говорит...”)»⁷. Здесь же Е.Е. Дмитриева справедливо говорит об ассоциировании «лишнего человека» с представлением о романтическом персонаже⁸. Последнее мнение мы разделяем полностью.

Ю.Б. Виппер, со ссылкой на А.А. Елистратову, заметил, что, теряя после эпохи Возрождения «свою цельность, человеческие характеры неизбежно мельчают. Но одновременно лишается былого величественного размаха и само представление о гармоническом развитии индивидуальности: гармоническое соотношение духовного и физического, личного и общего нередко подменяется умеренностью, сдержанностью и ограничением своих желаний и побуждений, диктуемых трезвым смыслом»⁹. Романтики – и Байрон в частности – пытались вернуть личности ее масштаб, однако уже в ее противопоставлении социуму.

Хотя изображенные Байроном экзистенциальные конфликты окрашены поэтом в политико-социальные тона, это, безусловно, не приводит его произведения к некоей узкой «социальности»: масштаб постановки им проблем универсален, нередко и теологичен («Манфред», «Каин» и др.). А.А. Елистратовой верно отмечено «противопоставление общественного и личного» у Байрона¹⁰, что в данном случае предполагает примат именно экзистенциально-метафизического измерения над политико-социальным. Последнее по-своему актуально для И.С. Тургенева в XIX в., и для А. Камю в XX в.

В письме к А.А. Фету от 10 апреля 1872 г. (по н. ст.) Тургенев отметил свойственное Байрону (наряду с Шиллером) «тонкое и верное чутье внутреннего человека, его душевной сути»¹¹. Образ «лишнего человека», как он задан Тургеневым, обнаруживает – в том числе – амбивалентную полемичность по отношению к художественной антропологии «восточных» поэм Байрона, а также к его образу Манфреда (из одноименной драматической поэмы, переводившейся Тургеневым)¹². Байрон и его мир в «Дневнике лишнего человека» имплицитно выступают, впрочем, некими «символами», эмблемами, репрезентантами романтизма, по-новому открывшего внутренний мир личности.

Чулкатурин обращается в своих записях к самому себе, но на границе между «я-для-другого» и «я-для-себя» (если использовать бахтинские термины). Если распространить убедительную логику

истолкования тургеневской повести, предложенную А. Молнар, на факт чулкатуринского существования на указанной «границе», то это обнаруживает также «его пограничное положение между жизнью и смертью»¹³.

Существование исключительно «на границе» (во всех смыслах) оставляет место для достаточно полной самоманифестации самосознания Чулкатурина, в значительной мере подражающего здесь романтическим героям – но уже в осознаваемой Чулкатуриным внеромантической (или даже антиромантической) обстановке, во внеромантическом состоянии самого исторического мира вообще. С другой стороны, существуя «на границе», Чулкатурин часто дан нам – своими же усилиями – в состоянии «я-для-себя», чем невольно игнорируется второй необходимый статус личности – «я-для-другого».

Нельзя разделить оценку И.А. Беляевой Чулкатурина как «характера <...> более чем обыкновенного, лишенного какой-либо исключительности»¹⁴. Лишний человек у Тургенева – не «незначительный», а тот, кому не нашлось места в существующей иерархии социальности, политики, быта и т.п., понятий в качестве проявлений жизни, точнее – именно *исторической жизни и жизненного мира в его историчности*. Чулкатурин имеет несомненный внутренний масштаб, но он противопоставляет себя остальным не как трансгрессивный (экстравертный) бунтарь, а только как интровертный, ушедший в себя, бунтующий скорее против себя. Могут сказать, что качество интровертности свойственно и байроновскому Манфреду, но Манфред даже в самоизоляции ставит себя выше всех. Чулкатурин же всю объемность своего «эго» «запахивает» только на себя, в результате чего читатель невольно воскликнет об «уничижении паче гордости» и во многих аспектах будет прав. В связи с «самоуничижением» возможно допустить христианские оттенки чулкатуринского образа, но в повести они затемнены, выдвинуты несколько приглушенно.

Хотя А.А. Григорьев считал, что повесть описывает «полное самоуничтожение перед вечностью громадного внешнего мира»¹⁵, факт «самоуничтожения» «внешнего мира» означал выход автора и героя в сферу метаистории, т.е. в область *обобщения* собственно *исторических* смыслов, к которым Чулкатурин причастен относительно, частично, но с выходом в метаисторию (через смерть

и ведущую к ней болезнь) герой способен приобщиться к ним уже сполна. Тончайшее григорьевское замечание справедливо выдвигает наперед личность Чулкатурина в ее самости и несомненной значимости, что бы герой на себя ни наговаривал.

Сквозной байроновский персонаж (повторим: для Тургенева – это скорее эмблема романтизма, романтической художественной антропологии) – «одиноким скиталец, несущий сквозь жизнь свою таинственную скорбь и свою гордую мечту о свободе»¹⁶ – «лишен» по отношению к остальным, в самом деле, экзистенциально и философски («умозрительно»). Речь идет о метафизическо-антропологических откровениях поэта (радикально заострившего противопоставление личности и общества), по поводу которых Вяч.И. Иванов дал глубокую трактовку: «<...> Для славянства он (Байрон. – С. Ш.) был огненным крещением духа, первую врезавшуюся в сердца, как раскаленная печать, вестью об извечном праве и власти человеческой личности на свободное самоопределение перед людьми и Божеством. <...> Перед лицом самого Бога человек – личность, и только такого человека хочет Бог»¹⁷.

Именно в таком метафизическо-бунтарском аспекте личностями являются байроновские Гяур, Конрад, Лара, Каин и т.д., не боящиеся «тягаться» ни с социумом, ни с Богом. Казалось бы, эти типажи (не типы, так как они полностью индивидуализированы и неповторимы) весьма далеки от фигуры Чулкатурина, но ведь он во многом именно с героями такого типа соотнесен, чаще через отрицание. Невысокая самооценка Чулкатурина – результат его знания о существовании личностей более «высокого» *призвания*. Чулкатурин парадоксально «лишен» также по отношению к самим «лишним» байроновским героям. На таком фоне «лишность» Чулкатурина «удваивается», становится единственной в своем роде и вообще сугубо единичной, нисколько не преуменьшая внутренний масштаб души героя.

Персонажи байроновских поэм и драм часто условны, их – несколько гипотетический для восприятия – облик вырастает из конструирования читателем заведомо разорванных «фрагментов» сюжета; такой тип нарратива афористично назван В.М. Жирмунским «вершинной композицией»¹⁸. Однако родственная, сходная организация повествования – в тургеневских записях «Дневника лишнего человека»¹⁹, нарочито фрагментарных, почти бессюжет-

ных (если не считать «вставную» историю влюбленности Чулкатурина в Лизу).

Условны (от этого в философском значении схематизированы) у Байрона описываемые ситуации противоборства героя и мира (или героя и Бога). В отличие от Байрона Тургенев имеет дело с полной конкретностью героя и окружающего его мира (как *исторического*), но у Тургенева постбайронический мир оказывается внегероичен и во многом прозаичен, а сам герой – *внешне* нереспектабелен, небросок: именно так позиционирует себя Чулкатурин и для других, и для своего собственного самосознания. Тем не менее Чулкатурин *полностью царит* в самой своей внутренней опустошенности, в своем «я» и даже распоряжается им, но не от силы или от слабости, а от своего оригинального (не похожего ни на чье) «направления воли» (термин Аристотеля). В этом «лишний» Чулкатурин – значителен; и в самом деле абсолютно сопоставим, что продемонстрировано Ю.В. Манном, с «парадоксалистом» из «Записок из подполья» Достоевского²⁰.

В начале повести задана словно «внелитературная» попытка протагониста «изложить самому себе свой характер» (472)²¹ (ведение дневника мотивируется только этим). Самоанализ, самопознание – в сократовской традиции, что не только делает героя своего рода «философом», но и приподнимает его над его «лишностью». Тщательный самоанализ Чулкатурина – это и основа его прихода к знанию о себе-«лишнем», и вместе с тем – результат этого знания и вообще этого статуса.

Поэтому трудно разделить наполнение оценки самоанализа Чулкатурина, данное А.А. Фаустовым и С.В. Савинковым: «Лишенный своего места, Чулкатурин чувствует себя безнадежно отделенным от мира, наглухо запертым в своем “Я”. Единственное, что ему остается, – обратиться внутрь себя, а это такое движение, которое самоуничтожительно по своей сути» (с. 23–25). Всякий самоанализ нацелен на «узнание» себя, поэтому не несет самоуменьшения, являясь «сократовским» по типу актом мысли и «поступком» (М.М. Бахтин), поступком-мыслью со своим смыслом. Сходное с приведенным мнением А.А. Фаустова и С.В. Савинкова замечание В.М. Марковича о «саморазрушительной рефлексии “лишних людей”»²² также спорно: хотя рефлексия – сам способ их существования, «саморазрушительна» не она, а отдельные при-

входящие (случайные, но не распознанные героем в таком качестве) моменты ее содержания и самопроживания.

Близка к оценке В.М. Марковича трактовка А. Дуккон: «В “Дневнике лишнего человека” еще теснее и сложнее переплетаются недостаток оригинальности, склонность к рефлексии и литературность героя»²³. Если тут и есть «литературность», то лишь связанная с романтическими (байроновскими и др.) претекстами и прецедентами.

Чулкатурин *самому себе* признается в том, что он – «лишний», причем «к другим людям это слово не применяется» (173). Далее самоаттестация вновь уточняется: «Сверхштатный человек – вот и все!» (173) – т.е. словно «не предусмотренный» в самом факте своего существования.

Во время любовных коллизий в отношениях с Лизой, в соперничестве с ее поклонником князем Н* возникает крайняя степень самоумаления Чулкатурина: «Ревность, зависть, чувство своего ничтожества» (189) (что, однако, на первый взгляд, неожиданно сопровождается «бессильной злостью» в качестве превращенного – негативного – проявления силы); «Но я решительно потерял чувство собственного достоинства и не мог оторваться от зрелища своего несчастья» (190). Акцентирование в своем сознании «зрелища своего несчастья» означает наличие в Чулкатурине определенной жалости к себе, неотделимой от сознания своей «лишности». Саможалость *тут* выступает – парадоксально – видом скорее рафинированности «я».

О дуэли с князем говорится: «Признаюсь, мне тоже приятно было думать, что я, темный уездный человек, принудил такую важную особу драться со мной» (199). И далее: «Сознание моей глупости меня уничтожило» (203). Здесь смесь уничтожения с умилением от «высоких требований» к себе.

По точному замечанию Ю.В. Манна, «Чулкатурин – не исторгнутый, не отверженный, не выпавший из человеческой общности, а как бы изначально в нее не допущенный. Его взгляд на других не сверху вниз (хотя свойственные ему наблюдательность и язвительность порою оставляют впечатление превосходства), а снизу вверх или, точнее, со стороны»²⁴. «Со стороны» – самая точная трактовка мирозерцания Чулкатурина, подчеркивающая в нем качество несломленности несмотря ни на что. Фиксация же

«не-отверженности» (манифестация несломленности) говорит не о социальных и политических причинах «лишности», а о более загадочных, до конца не артикулируемых – экзистенциальных, мистических, духовных...

Особый и принципиальный аспект записям Чулкатурина придает то, что они ведутся в преддверии ожидаемой смерти. Записи начинаются с упоминания визита врача к герою и заканчиваются практически этим же. Ожидание Чулкатуриным смерти – в его буквальных предвкушениях неминуемого: «Смерть, смерть идет. <...> Пора... Пора!.. <...> Я не нагляжусь на мою бедную, невеселую комнату, прощаюсь с каждым пятнышком на моих стенах! Насыщайтесь в последний раз, глаза мои! Жизнь удаляется; она ровно и тихо бежит от меня прочь, как берег от взоров мореходца» (214). Сравнительный оборот в последнем предложении цитаты, заметим, выражен в романтическом ключе, хотя и с несколько иронической коннотацией «поверх» нарратива, идущей от «образа автора».

В самых последних записях, однако, возникает совсем диссонансирующая с общим настроением Чулкатурина запись: «Уничтожаясь, я перестая быть лишним...» (215). Тут имеется в виду не только подразумеваемое христианством величие таинства смерти и вообще перехода в мир иной, величие «оптимизма» (индивидуальной) христианской эсхатологии; здесь более широкий общемистический контекст переступания границ миров вообще, даже независимо от конфессии (ср. выраженную в предисловии Байрона к мистерии «Каин» идею о множественности миров).

Согласно верному наблюдению А. Молнар, в финале «изменяется отношение говорящего к смерти и трансформируются его прежние шаблоны. Достигнут уникальный и неповторимый результат понимания, осуществляемого во время письменных операций для образования слова и текста дневника. Именно это является главным событием бытия, которое обозначено словом **“не-лишности”**. А это неразрывно связано в произведении с самоосмыслением»²⁵.

Камю применительно к «Постороннему» говорил о совпадении «общественного и метафизического»²⁶, что означает в данном случае идею о необходимости *философского* (внутреннего) бунта против мирового экзистенциального абсурда – абсурда, приравни-

ваемого в повести к торжествующему в наличном мире официозу. Мерсо на новом витке литературного развития во многом реанимирует и трансформирует родственные байронически-романтическим ценности, к которым тургеневский Чулкатурин практически полностью «вернулся» в своей смерти – признавая ее возвышающее значение, снимающее его «лишность».

Повествование «Постороннего», подобно байроновскому и тургеневскому («вершинная композиция»), построено в виде отрывочных дневниковых записей протагониста: «Перед самой казнью осужденный преступник ведет записки. Стараясь с предельной откровенностью осветить, еще раз перебрать в памяти то, что привело его в камеру смертника, и под занавес, в час последнего прощания, подтвердить, что ему не в чем себя упрекнуть»²⁷. Последние слова («не в чем себя упрекнуть») не надо понимать буквально, т.е. они обращены героем прежде всего к миру абсурда / официоза, а не к себе. Отказываясь признавать внешний мир историчным, Мерсо признает историчным (имеющим смысл) себя.

По наблюдению В.В. Шервашидзе, «с одной стороны, Мерсо – обычный мелкий служащий в одной из контор Алжира. Он ведет существование ничем не примечательное, складывающееся из серых будней и не менее тоскливых воскресений. Он сам неоднократно подчеркивает свою ординарность: “такой как все”. С другой стороны, Мерсо – воплощение абсурдного сознания, “оголенность человека перед лицом абсурда”. Как отмечает Камю, здесь речь идет “о двойном отчуждении – социальном и метафизическом”»²⁸. Чулкатурин также – с внешней стороны – в самой обыденной (преобыденной) роли. Но как и Мерсо, внутренне он в состоянии социально-метафизического (отношение к Лизе и князю, например) разлада с миром. Однако чулкатуринский разлад замаскирован под «смирение» или «соглашательство», оканчивающиеся с его смертью.

Резкий антиофициозный пафос сюжета «Постороннего» выражен А. Камю в его предисловии к американскому изданию повести: «Герой книги осужден потому, что не играет в игру тех, кто его окружает. В этом смысле он чужд обществу, в котором живет, он бродит в стороне от других по окраинам жизни частной, уединенной, чувственной (ср. с фигурой Чулкатурина. – С. Ш.). Он отказывается лгать... Он говорит то, что есть на самом деле, он

избегает маскировки, и вот уже общество ощущает себя под угрозой»²⁹.

Заметны симптомы близости Мерсо к типу «естественно-го человека», что отмечал сам Камю в своих записных книжках³⁰; это констатируется в повести с долей иронии³¹, не всегда принимаемой читателем во внимание. Так же редко отдают себе отчет в некоторой ироничности Чулкатурина-нарратора и в подразумеваемой «сверх» «прямой» наррации «Дневника лишнего человека» иронии «образа автора». Ирония «поверх» «прямой» наррации у обоих писателей выступает модусом «отрицания» (глобального сомнения в отношении наличного).

Характерно – видимо, неотрефлексированное – использование С.И. Великовским для характеристики Мерсо слова «лишний»: «Он и правда “лишний” в игре защиты и обвинения, где ставкой служит его жизнь»³². Налицо, в рамках исторической поэтики, закономерный переход от «лишнего» человека к «постороннему».

Убийство араба, совершаемое Мерсо, происходит в состоянии буквального и метафорического «ослепления»: «И тогда араб, не поднимаясь, вытащил нож и показал его мне. Солнце сверкнуло на стали <...> Все вокруг закачалось. <...> Я весь напрягся, выхватил револьвер, ощутил выпуклость полированной рукоятки»³³. По существу, Камю оправдывает акт убийства, что напоминает оправдание Байроном Каина – первого убийцы на земле, также совершающего преступление почти случайно, в состоянии обиды, «аффекта» *сознания*. Согласно замечанию А.С. Ромм: «В момент убийства Авеля Каин попадает во власть каких-то темных стихий. <...> Его покидает <...> строгая четкость мысли»³⁴.

Байроновский Каин убивает Авеля, пытаясь, как кажется преступнику, воззвать к лучшему мировому порядку, который не основывался бы на жертвоприношениях, крови и бездумном поклонении Богу³⁵:

Каин

Пусти! Пусти меня!

Твой бог до крови жаден, – берегись же:

Пусти меня, не то она прольется»³⁶.

Таким образом, сходство мотивов «Постороннего» и «Каина» налицо. Последние строки «Постороннего» переворачивают полусмирную «лишность» Чулкатурина в бунт со стороны Мерсо и радикализируют – в развитии – аллюзию Камю на финал «Каина»: «Для полного завершения моей судьбы, для того, чтобы я почувствовал себя менее одиноким, мне остается пожелать только одного: пусть в день моей казни соберется много зрителей и пусть они встретят меня криками ненависти»³⁷.

Мерсо, подобно Чулкатурину, заканчивает сюжетное действие образом собственной смерти, окончательно «оправдывающей» обоих героев.

¹ О связи творчества Тургенева с романтизмом см., напр.: *Pahomov G.S.* In *Earthbound Flight: Romanticism in Turgenev*. V. Kamkin Books, 1983; *Киселева Е.А.* Поэтика романтизма в творчестве И.С. Тургенева и Т. Шторма [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/poetika-romantizma-v-tvorchestve-i-s-turgeneva-i-t-shtorma> (Дата посещения: 01.03.2018); и др.

² Ср. уже выразительное название монографии: *Топоров В.Н.* Странный Тургенев. М., 1998.

³ *Маркович В.М.* «Дневник лишнего человека» в движении русской реалистической литературы // *Русская литература*. 1984. № 3. С. 105.

⁴ *Фаустов А.А., Савинков С.В.* Универсальные характеры русской литературы: Монография. Воронеж, 2015. С. 16. Далее ссылки на это издание в основном тексте с указанием страницы.

⁵ *Жуковский В.А.* Собр. соч.: в 4 т. М.; Л., 1959. Т. 2. С. 279.

⁶ *Тарковский А.А.* Байрон. Заметки на полях книги // *Тарковский А.А.* Собрание соч.: в 3 т. М., 1991. Т. 2. С. 214.

⁷ *Дмитриева Е.Е.* Романтический герой, герой нашего времени, лишний человек: К генеалогии образа // *Мир Лермонтова*. СПб., 2015. С. 443.

⁸ Там же.

⁹ *Виннер Ю.Б.* О преемственности и своеобразии эпох Ренессанса и Просвещения в западноевропейской литературе // *Виннер Ю.Б.* Творческие судьбы и история. М.: Художественная литература, 1990. С. 236.

¹⁰ *Елистратова А.А.* Байрон. М., 1956. С. 236.

¹¹ *Тургенев И.С.* Собр. соч.: в 12 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 12. С. 439.

¹² Ср. постановку проблемы «Тургенев и Байрон» в работе: *Кийко Е.И.* Цитата из Байрона в «Отцах и детях» Тургенева // *Тургенев И.С.* Вопросы биографии и творчества. Л.: Наука, 1990. С. 87–88.

- ¹³ Молнар А. Метафорическое пространство в повести И.С. Тургенева «Дневник лишнего человека» // Восток – Запад в пространстве русской литературы и фольклора. Волгоград: Перемена, 2017. С. 237–244.
- ¹⁴ Беляева И.А. Система жанров в творчестве И.С. Тургенева. М.: МГПУ, 2005. С. 94.
- ¹⁵ Григорьев А.А. И.С. Тургенев и его деятельность // Григорьев А.А. Литературная критика. М., 1967. С. 253–254.
- ¹⁶ Ромм А.С. Байрон. М.; Л.: Искусство, 1961. С. 27.
- ¹⁷ Иванов Вяч.И. Байронизм как событие в жизни русского духа // Иванов Вяч.И. Родное и вселенское. М., 1994. С. 269–270.
- ¹⁸ Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. Л.: Наука, 1978.
- ¹⁹ «Дневник лишнего человека» заслуживает также сопоставления с «Записками сумасшедшего» Гоголя (в первой редакции названными «Клочками из записок сумасшедшего», что особенно корреспондирует с фрагментарностью тургеневского «Дневника...»): в обоих текстах силен комический элемент (что по отношению к Тургеневу отмечают редко). На родственность текстов бегло указывал еще Ю.В. Манн: Манн Ю.В. «Истинно лишний человек» (Заметки о типологии характера) // Манн Ю.В. Тургенев и др. М.: РГГУ, 2008. С. 14. Ср. в связи с разладом Чулкатурина с миром образ «бунтующего» перед смертью Акакия Акакиевича в «Шинели». Кроме того, есть переключки между этой повестью Тургенева и «Выбранными местами из переписки с друзьями» (через момент внутреннего «обнажения» личности «образов автора»), но все это заслуживает отдельного разговора.
- ²⁰ Манн Ю.В. Указ. соч. С. 23.
- ²¹ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30 т. Сочинения. 2-е изд. М., 1980. Т. 4. Далее все ссылки в основном тексте по этому изданию.
- ²² Маркович В.М. О «трагическом значении любви» в повестях И.С. Тургенева 1850-х гг. // Поэтика русской литературы. К 70-летию проф. Ю.В. Манна. М.: РГГУ, 2001. С. 286.
- ²³ Дуккон А. «Лишние люди» или шиллеровский дуализм в интерпретации Тургенева // «Литературоведение как литература». Сборник в честь С.Г. Бочарова. М., 2004. С. 125.
- ²⁴ Манн Ю.В. Указ. соч. С. 14.
- ²⁵ Молнар А. Указ. соч. С. 243. Выделено А. Молнар.
- ²⁶ Камю А. Записные книжки // Камю А. Творчество и свобода. Статьи, эссе записные книжки. М.: Радуга, 1990. (Пер. О. Гринберг.)
- ²⁷ Великовский С.И. Грани «несчастливого сознания». М.: Искусство, 1973. С. 47.
- ²⁸ Шервашидзе В.В. Западноевропейская литература XX в. М.: Флинта; Наука, 2010. С. 210.
- ²⁹ Цит. по: Великовский С.И. Указ. соч. С. 48.
- ³⁰ Камю А. Записные книжки. С. 236.
- ³¹ Ср.: «Все мое творчество иронично» (Там же. С. 535).
- ³² Великовский С.И. Указ. соч. С. 55.

³³ Камю А. Посторонний // Камю А. Избранное. Минск, 1989. С. 69.

³⁴ Ромм А. С. Указ. соч. С. 69.

³⁵ Ср.: «Апология убийства человека человеком – один из этапов на пути к бунту» – Камю А. Записные книжки. С. 506. И еще: «Но никто не бывает абсолютно виновен, следовательно, никого нельзя приговаривать к абсолютному наказанию» (Там же. С. 470). В записях Камю немало мыслей и о фигуре Каина, и они пересекаются с записями по поводу «Постороннего».

³⁶ Байрон Дж. Г. Собр. соч.: в 4 т. М., 1981. Т. IV. С. 387, 400.

³⁷ Камю А. Посторонний. С. 110.